

Фантомы и реальность

Обладание и причастие

Слово "фантомы" тиражировано в двух романах Александра Мелихова, опубликованных в "Новом мире" (в 2000 и 2001 гг.) и в его интервью Татьяне Бек: "Глумление над собственным отчаяньем" ("Вопросы литературы", 2000, № 6). Мелихова действительно приводит в отчаянье, что все вокруг живут фантомами, иллюзиями, потом разочаровываются, гибнут; но жить без фантомов тоже нельзя – так он думает, – потому что реальность безотраднa, ничего не дает сердцу, потому что сердце живет только фантомами, иллюзиями. Эта вечная проблема очень заострилась, потому что картинки, мелькающие на голубом экране, резко увеличили власть фантомов (или, как их называли во Франции, "симулякров", симулированной реальности). Однако я думаю, что один очень важный фантом Мелихов упустил: сциентизм, веру во всемогущество точных наук.

Он убежден, что реальность – только то, что можно установить и доказать методами точных наук. От этого его трагическое мировоззрение. Все, что насыщает сердце, кажется ложью. Вера, надежда, любовь – всё ложь. Между тем, точность – функция логически корректных операций с банальными объектами мысли. Можно точно оперировать с математическими символами, с математическими моделями атома и т. п. Но чем сложнее, своеобразнее, неповторимее предмет, тем фиктивнее, фантомнее точность суждений о нем. "Вода в стакане прозрачна, вода в море темна, – писал Тагор. – У маленьких истин – ясные слова, у великой истины – великое молчание". Глубина таинственна. Ей можно причаститься, но ею нельзя владеть – ни физически, ни интеллектуально, никак. Нельзя определить, что такое Бог, потому что определить – значит ограничить, а Бог и другие символы высшей святости (Брахман, Дао) по ту сторону всех границ. И даже человека, которого мы каждый день видим, нельзя точно определить. В нем есть непостижимая глубина, и он способен на неожиданное. Нельзя доказать, что Шекспир великий писатель. Толстой с этим не соглашался. Л. Е. Пинский, заканчивая главу о "Короле Лире", сказал мне: "Единственное адекватное высказывание о "Короле Лире" Шекспира это "Король Лир" Шекспира". Вопрос о том, кто такой Гамлет, четыреста лет остается открытым.

Значит ли это, что Гамлет, Лир, Макбет – фантомы? Ничего подобного. Это факты истории культуры, и если какой-нибудь мальчик сбросит их, вместе с Пушкиным, с корабля современности, то они не потонут в Лете. Пушкин и его "Медный всадник", Достоевский и его романы упрямее, чем любая теория. Но чем точнее мы их познаем, тем более соскальзываем на отдельные аспекты; целое постижимо только интуитивно-личностно. Бердяев придумал для такого познания термин "трансубъективное". Субъективное, доведенное до реальности, которая глубже двойственности субъекта и

объекта. На Востоке эту реальность называют недвойственным.

Я был очень горд, придумав свое определение: "точность функция логически корректных операций с банальными объектами мысли"; а потом нашел нечто подобное у Хайдеггера. Машинопись русского перевода у меня затерялась, но смысл примерно такой: само стремление к достоверности гуманитарной мысли ведет к отказу от точных методов, которые вне своей области иллюзорны. Продолжаю эту мысль образом, пришедшим в голову: бесполезно искать темные глубины бытия под фонарем. Логика здесь не достигает цели. Достигает – причастие.

Тождество между реальностью и тем, что можно сосчитать, философски недостоверно. Оно оспаривалось с первых шагов греческой философии; можно сосчитать звезды в небе, атомы, болтающиеся в пустоте (или атомарные факты Бертрانا Рассела). Но если только Единое есть, а многого не существует, как полагал Парменид, – то как эту парменидовскую реальность считать? Целое не членится на единицы счета. Точные науки схватились за модель Демокрита, но полная достоверность ее никакими методами, ни точными, ни неточными, не может быть доказана. Демокритовская точка зрения нашла опору в науке, парменидовская – в мистике. С потрясающим блеском она была усовершенствована Шанкарой-ачарьей: "Истина – Брахман, мир – это ложь, Атман и Брахман едины". В переводе на язык привычных понятий, истина – целостный мировой дух; факты, данные нам в ощущении, – только поверхность бытия, "покров, брошенный над бездной" (Тютчев); наш личный дух, на своей глубине, причастен мировому духу и неотделим от него.

Правда, Шанкара жил тысячу лет тому назад и не знал физики; но Эрвин Шредингер безусловно физику знал, а между тем, в своей книге "Что такое жизнь с точки зрения физики", он обмолвился (кажется, в предисловии), что мировоззрение, лучше всего согласное с его наукой, это адвайта-веданта; иначе говоря, он был последователем Шанкары. Это не мешало ему изучать покров, брошенный над бездной, и определять жизнь как отрицательную энтропию. В 1947 году автор оказался недостижим, но редакторам перевода книги Шредингера досталось. А я каждый подобный скандал запоминал: других источников информации у меня не было.

Еще один интересный пример – "Логико-философский трактат" Людвиг Витгенштейна. Я читал его в 1958 году и запомнил две мысли: "То, что вообще может быть высказано, должно быть сказано ясно; об остальном следует молчать". "Мистики правы, но их правота не может быть высказана, она противоречит грамматике".

Примерно с этого начал и Будда. Он утверждал только то, что можно ясно высказать: "существует страдание; у этого страдания есть причина; эта причина может быть устранена...". А на метафизические вопросы отвечал "благородным молчанием". Есть

путь, ведущий к освобождению от страдания, от острого чувства неполноты поверхностной жизни: "Есть, о отшельники, нечто неставшее, нерожденное, несотворенное..." – а что это такое, поймете, когда достигнете его. Подходящих слов, чтобы описать "безымянное переживание" [1], люди не придумали. Даже слова "вечность" и "Бог" казались и Будде, и Кришнамурти слишком грубыми. "Мистики правы, но их правота не может быть высказана: она противоречит грамматике", противоречит логике, противоречит точной науке. Глубина открывается только мистиком, пережившему "вечное теперь", и только тогда, когда он находится в состоянии причастия глубине.

Неудивительно, что путь Людвиг Витгенштейна повторил развитие буддизма. В поздние свои годы он изучал дзэнские парадоксы. Они давали ему надежду преодолеть тупик абсурда, ограничивающий прямые пути логики.

Для дзэнцев и наивный реализм, уверенный в полноте реальности дробного и двойственного, – фантом, и убеждение, что мир – это ложь, тоже фантом. А реально прорастание недвойственного в мир двойственного и дробного, в мир пространства, времени и материи. Высказано это было в Китае примерно тогда же, когда жил Шанкара, и почти так же коротко: "Пока я не знал святого учения, я думал, что гора есть гора. Потом, углубившись в учение, я понял, что гора не есть гора; но потом, еще глубже вникнув в учение, я понял, что гора есть гора!". Последнее слово я, вслед за Зинаидой Александровной, произношу с ударением, чтобы немного помочь читателю. Если высказать эту онтологию по-христиански, то Иисус – не просто Сын Человеческий и не просто Бог; это Сын, единосущный Отцу и от века пребывавший в недрах Отчих. Дзэн придает тот же статус любой травинке, червяку, камешку, обыденному мигу жизни.

Оставаясь в рамках дзэн, можно пояснить китайский парадокс эпизодом из жизни Хакуина, знаменитого впоследствии японского старца (XVII-XVIII вв.). После долгого созерцания неразрешимой загадки, заданной ему для выхода из "помраченного разума" (из мира здравого смысла, из привычек логики), он с восторгом пережил реальность недвойственного, которое одно реально, и в праздничном настроении пришел к учителю. "Что же ты постиг?" – спросил тот (кажется, это был Сокэй). "Мир развалился! Вселенная распалась на части!" – завопил Хакуин. Сокэй схватил его за нос и несколько раз сильно подергал, а потом спросил: "Как же это случилось, что кусок вселенной оказался у меня в руках?".

Пинком сброшенный с крыльца, Хакуин упал лицом в грязь и с трудом поднялся, чтобы закончить аудиенцию церемонным поклоном. Не раз он приходил в отчаянье. Однажды, задумавшись, он остановился около крестьянского дома. Хозяин несколько раз кричал, чтобы назойливый нищий убирался прочь. Хакуин его не слышал. Тогда

хозяин схватил метлу и ударил бонзу по голове. Слетела на землю соломенная шляпа. Но от удара что-то прояснилось в уме. Полный тихой радости, Хакуин пришел к Сокэю. Тот взглянул на него – и не увидел на лице ни уныния, ни экстаза, а что-то новое (примерно то, что православные называют трезвением в благодати). Задав несколько вопросов, на которые Хакуин мгновенно отвечал, Сокэй благосклонно отпустил его и больше никогда не бранил.

Став учителем, Хакуин реформировал метод ритуальных загадок, разделив их на пять ступеней. На первой ступени ученик должен был постичь, что помраченный разум ложен (гора не есть гора). На втором – что помраченный разум тоже обладает известной реальностью (то, что ему довольно грубо показал Сокэй). На третьей – что максимумом реальности обладает прорастание целостной вечности в мир "рождения и смерти", в мир двойственности и дробности. На четвертой ученик преодолевает трудности языка парадоксов (не зная иероглифов, я это не могу объяснить); а на пятой учится бегло проходить через все предыдущие ступени, чтобы буква не убивала дух или, как говорят дзэнцы, – не путать луну с пальцем, указывающим на луну. Человек возвращается в будничный мир, но видит его таким, словно мир только что сотворен. "Как бабочка подлетает к едва распустившемуся цветку, Бодхидхарма говорит: "я не знаю!""", писал один из дзэнских поэтов. Другой ему вторит: "Как это удивительно, сверхъестественно, чудесно! Я таскаю на кухню воду, я подношу дрова!". "Ваш обычный повседневный опыт, но на два вершка над землей", – сказал об этом академик Судзуки.

Дзэн не дает обладания тайной. Она остается безымянной как у Лаоцзы: "знающие не говорят, говорящие не знают". Достигается другое: причастность тайне, не доступной слову. Причастность нельзя затвердить, как символ веры, нельзя передать по наследству и даже сохранить назавтра, если оборвется "вечное теперь". Остается только след в сознании, память о реальности – до следующего причастия.

Этого так или иначе добиваются все мистики. Разные вероисповедания – только разные пути к одной вершине горы, и временами они сходятся. Далай Лама XIV неожиданно сошелся во взглядах с апостолом Павлом, сказав (я это слышал из его уст в 1996 г.), что главное – любовь в сердце, а метафизические теории, буддийские и христианские, – дело второстепенное. А в христианстве парадоксален сам образ Бога, повешенного на позорной виселице, на виселице для рабов и прочей сволочи (римских граждан не распинали). Взгляните на это глазами человека древности; и вы воскликнете, как ап. Павел: "для иудеев соблазн, для эллинов безумие". И не только Тертуллиан мог сказать: "Я поклоняюсь виселице, ибо это позорно, я чту повешенного, ибо это постыдно, я верую, ибо это бессмысленно". Все попытки внести логику в отношения Отца и Сына вели к ереси, и в конце концов церковь приняла как догмат явный абсурд: Христос вполне Бог и вполне человек, и две природы, Божеская и

человеческая, соединены в Нем неслиянно и нераздельно (то есть слиянно и неслиянно, раздельно и нераздельно, по ту сторону разума, абсурдно). А между тем, в иконе и мозаике я вижу цельный образ Христа, и нет в рублевском Спасе никакой разорванности, через которую надо прыгать, – только огонь, который входит в сердце и зажигает его.

Что это, фантом? Нет! Это причастие высшей реальности, открытой созерцателям и закрытой для людей, ведущих агрессивно несозерцательный образ жизни, как сказал о них Томас Мертон. И нельзя путать свет глубокой реальности с болотными огоньками фантомов.

Созерцание может прийти как углубление в видимое и как углубление в осязание, когда ребенок прижимается к матери и чувствует себя причастным тайне, дающей сердцу покой, и через воскресение созерцательного осязания между любящими, и через музыку, созданную человеком, умеющим созерцать звук, и вошедшую в умы, умеющие слушать, и через книгу (как это случилось с Андреем Блумом), и даже через телевизор, когда мы смотрим на лицо Антония Блума. Рассуждение дает обладание отдельными истинами. Созерцание дает причастие единой Истине, Истине единства со священным.

Концепция Мелихова духовно наивна, она ничего не знает о "различении духов". Все фантомы для него одинаково фантомны. Одни увлечены фантомом Иисуса Христа, другие – фантомом Иосифа Сталина, и это (если строго следовать теории Мелихова) одинаково плохо (потому что ложно) и одинаково хорошо (потому что иллюзии наполняют жизнь видимостью смысла). Между тем, иногда за легендой открывается реальность, и именно она дает жизни смысл. А от некоторых фантомов Россию хорошо бы освободить. Приведу два примера, довольно сходных по своей структуре и в то же время – противоположных. Древняя сага, записанная в Исландии, бросила новый свет на убийство Бориса и Глеба. Варяги, выполнившие этот заказ, не имели оснований лгать. Они честно написали, что их послал Ярослав (Ярослав) убить своего соперника Борислейва (Бориса). Заодно убили и Глеба. Остальное можно понять по летописи. Ярослав свалил убийство на Святополка и убил его, как окаянного злодея. После этого, уничтожив братьев, он занял княжеский престол. Иноки, писавшие житие, либо не знали интриги, либо закрыли не нее глаза. И православные около тысячи лет, с XI по XXI в., чтут иконы Бориса и Глеба. То, что при этом сохраняется клевета на третьего страстотерпца, Святополка, и ложная слава действительного злодея, Ярослава, вероятно, имело какое-то значение для судеб Киевской Руси и ее церкви; но в данном случае важны убитые, а не убийца. Намоленная икона Бориса и Глеба – реальность. Их житие художественно правдиво, правда искусства здесь важнее, чем искажение некоторых фактов. Есть историки, которые считают Макбета неплохим государем. Есть историки, которые отрицают участие Годунова в смерти царевича Димитрия. Но

для культуры важнее "Макбет" Шекспира, "Борис Годунов" Пушкина и житие Бориса и Глеба.

Другое дело – легенда о Сталине, которая творилась им самим, была распатана после его смерти и время от времени восстанавливается. Здесь важен не Киров, а Сталин. Образ, запечатленный в стихах Ахматовой и Мандельштама, – это образ жуткого тирана. И таким он действительно был. Вместо Кирова мог быть Орджоникидзе или еще кто-то, но чрезвычайно важно признать факт, установленный Комиссией Шверника [2], что Сталин заказал Кирова, а потом свалил это на Зиновьева, Каменева и еще на 20 миллионов человек. Я уже несколько раз повторял: число жертв Большого террора, по официальной справке, данной КГБ накануне XXII съезда: за 6,5 лет, с 1 января 1935 года по 1 июля 1941 года, были арестованы 19 840 000 человек, из них семь миллионов расстреляны; остальные 13 000 000 пошли в лагеря, из которых немногие вернулись.

Все советские официальные цифры спорны. Был план (производства сахара или железа, раскулачивания, арестов, расстрелов), а выполнение плана подгонялось под плановые заседания. Отчет, представленный Председателем КГБ Шелепиным в Комиссию Шверника, не составляет исключения. Цифры могли быть завышены, как во всех советских отчетах, но таковы были цифры в отчете, который член Комиссии Шверника Ольга Григорьевна Шатуновская держала в руках. Я дружил с Ольгой Григорьевной четверть века и не сомневаюсь в ее искренности. А 20 миллионов или, может быть, "всего" 17-18 – какая разница? Порядок цифр в советских отчетах примерно сохраняется. Вместо 15 миллионов может быть 20, но из двух миллионов (цифра, которую идеолог партии Суслов оставил для истории) делать 20 никто не решался (см. Померанц Г. Следствие ведет каторжанка. М., 2004).

Есть участники войны, для которых фантом Сталина – часть жизни; без этого фантома им трудно жить. И так же чувствуют многие генералы. И многие простые люди, разочарованные бандитским капитализмом, возвращаются к этому фантому. Хотя то, что Сталин, погубив несколько миллионов человек в начале войны, сумел научиться на своих ошибках, сменить командующих, разбитых немцами, на других, более толковых, – не очень большая заслуга. Умные люди учатся на чужих ошибках, дураки – на своих. Сталин учился как дурак, гением он был только в провокации и интригах, а платили за его ошибки мы, убивали миллионами нас и в лагеря отправляли не Сталина, который сдал в плен миллионные армии, а выживших в плену солдат.

И то, что он создал хозяйственную систему, державшуюся на терроре, – катастрофический успех. Успех, основанный на превращении инициативных свободных людей в рабов ленивых и лукавых (Астафьев на примере собственного отца показывал, чему учит лагерь). И как только, после смерти Сталина, террор стал

слабеть, – система, шаг за шагом, развалилась. Вырастив в своем чреве только бандитов и теневиков, союз которых еще при Брежневе стал властью в Средней Азии и Закавказье, а после окончательного краха аппарата террора овладел почти всей страной.

Поэтому фантом Сталина – болотный огонек, и нельзя позволить сталинистам перечеркнуть результаты расследования, проведенного Ольгой Григорьевной Шатуновской, единственным реальным деятелем Комиссии Шверника. Хотя у меня нет надежды дожить до торжества правды, не подтвержденной ни одним документом, ибо все улики уничтожены или подменены. Между тем, если освободиться от власти фантомов, оба случая с убийством Бориса и Глеба и с убийством Кирова – сравнительно просты. В истории Бориса и Глеба важнее убитые, а легенда в самом главном не лжет. В другой истории – важнее убийца, и официальная легенда лжет в самом главном. К сожалению, большинство случаев чрезвычайно запутано – и в священном, и в мирском предании. Откровение пробивается сквозь дебри языка, через ограниченность представлений о мире и окутано облаком легенд. А науки, едва прикоснувшись к человеку, обрастают фантомными понятиями: развитие, прогресс...

Я уже несколько раз пересказывал, что Шишков думал о слове "развитие", введенном Карамзиным как калька с французского *developpement*: берем веревку и расщипываем ее по волокну. То есть, говоря ученым языком, развитие – синоним дифференциации. Но при этом (чего Шишков не понял) протаскивается аналогия с развитием зародыша и ребенка, то есть развитием, связанным с пропорциональным ростом. Без ясной постановки вопроса – как в обществе обеспечить пропорциональный рост. Незаконно предполагая, что общество справится с этим так же хорошо, как природа. А между тем, у природы здесь очень много хитростей, поворотов, игры с гормонами и всякими другими способами задерживать одно, ускорять другое и т. п.

Чтобы смыть идеологическую окраску, освободиться от ложного отождествления развития с цивилизацией и от презрения к "слабо развитым", "отсталым", к задержкам развития – по-моему, необходимым, – стоит отложить в сторону слово "развитие" и вернуться к слову "дифференциация". Это честный термин. Совершенно ясно, что он не охватывает всей реальности. Дифференциалу противостоит интеграл, дифференциации – интеграция. И сразу почти очевидно, что за скачком дифференциации надо подумать об интеграции, иначе все развалится; и нельзя спрашивать, что лучше, дифференциация или интеграция? Они обе лучше, но в паре, как вены и артерии. Но о дифференциации говорят только в ученых трудах, а в публицистику пошло слово "развитие". И тут сразу возникает мнимая, фантомная ясность: развитие – это хорошо, а задержка развития – плохо. И кажется возможным прямолинейное развитие, развитие, развитие – все скорее и скорее. Возникает тождество развития и прогресса, движения от плохого к хорошему, движения в

бесконечность по одной и той же дороге. Между тем, с экологической точки зрения очень интересен пример Тибета, который создал высокую духовную культуру при полной социальной и экологической стабильности, при полном отсутствии кризисов и угрозы краха. Правда, остается неясным, сумеет ли культура Тибета выжить в нынешних условиях. Но выступления Далай Ламы XIV больше мне дали для понимания XXI века, чем выступления лидеров США, где до сих пор в ходу понятие "прогресса", чистый фантом, выпаренный из "развития" за счет отбрасывания всех элементов трезвой мысли, которые сохраняются в социологии развития.

Фантомная наука мешает понять, что за эпохами накопления частных особенностей необходимо следуют эпохи торможения технико-экономического развития и переноса акцента на духовное развитие, на восстановление причастия глубинам бытия, на связывание подробности Божественным узлом, как это назвал Сент-Экзюпери.

СНОСКИ:

[1] Выражение Кришнамурти.

[2] Созданной после XX съезда для расследования сталинских преступлений.